

СБОРНИК РАССКАЗОВ ДЛЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ

СОСТАВИЛА: КАФТАЕВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

ВЫПУСК №1

2021

Составила: Кафтаева Ксения Александровна

Оглавление

Джеймс Джойс «Эвелин»	3
Рэй Брэдбери «Вельд».....	7
Эдгар По «Сердце-обличитель».....	22
Д.С. Лихачёв «Письма о добром и прекрасном»	26
Владимир Маяковский «Прозаседавшиеся»	29

Джеймс Джойс «Эвелин»

Она сидела у окна, глядя, как улицей завладевает вечерний сумрак. Головой она прислонилась к занавеске, так что в ноздрях у нее стоял запах пропыленного кретона. Она устала.

Прохожих было немного. Прошел с работы мужчина из крайнего дома; до нее доносилось, как его подошвы постукивают по бетонке, потом поскрипывают по шлаку дорожки, ведущей к новым красным домам. Раньше на месте их был пустырь, где они играли по вечерам с детьми из других семей. Потом тот пустырь купил человек из Белфаста и построил на нем дома – не такие, как их бурые маленькие домики, а яркие, кирпичные, с блестящими крышами. Дети со всей улицы всегда играли на пустыре – Девины, Уотерсы, Данны, и Кео, малыш-калека, и она с сестрами и братьями. Только Эрнест никогда не играл с ними, он уже слишком вырос. Отец часто гонял их с поля, размахивая своей тростью из терновника, но обычно малыш Кео стоял у них на атаке и вовремя сигнализировал, когда отец появлялся. А все-таки они были, пожалуй, довольно счастливы в ту пору. Мать еще была жива, и отец был помягче. Давно это было; с тех пор и она, и братья с сестрами стали взрослыми, а мать умерла. Тиззи Данн тоже умерла, Уотерсы уехали в Англию. Все меняется. Вот и ей пришло время уезжать, как уехали другие, время покинуть дом.

Дом! Она обвела взглядом комнату, все знакомые вещи, с которых она в течение стольких лет раз в неделю стирала пыль, всякий раз удивляясь, откуда берется столько пыли. Может быть, она никогда уже не увидит эти вещи, а ей ведь даже во сне не снилось, что она вдруг с ними расстанется. Хотя за все годы она так и не узнала, как звали того священника, чья пожелтевшая фотография висела над сломанной фисгармонией, рядом с цветной репродукцией обетований, данных Блаженной Маргарите Марии Алакок. Он был школьным товарищем отца. Показывая фотографию какому-нибудь гостю, отец всегда добавлял как бы вскользь:

– Он сейчас в Мельбурне.

Она согласилась уехать, покинуть дом. Разумно ли это? Она пыталась взвесить со всех сторон. Здесь, дома, были, по крайней мере, кусок хлеба и кров и вокруг были люди, которых она знала всю жизнь. Конечно, приходилось и тяжело трудиться, что дома, что на службе. Что, интересно, про нее скажут в магазине, когда узнают, что она убежала с парнем? Скажут, что дура, верней всего, и заполнят место по объявлению. Мисс Гэйвен порадует. Она всегда придиралась к ней, особенно когда люди могли слышать.

– Мисс Хилл, вы что, не видите, эти дамы ждут?

– Мисс Хилл, поживей, пожалуйста.

Да, по своему магазину она сильно горевать не будет.

Но там, в новом доме, в неведомой далекой стране, все будет уже не так. Там она будет замужем – она, Эвелин. Ее будут уважать, и с ней не будет такого обращения, какое досталось матери. Даже теперь, когда ей уж было за девятнадцать, она себя чувствовала иногда под угрозой отцовских выходок, и она знала, что эти сердцебиения у нее, это из-за них. В детстве он никогда так не набрасывался на нее, как на Гарри и на Эрнеста, потому что она была девочка, но в последнее время он начал ей угрожать и говорить, что он бы ей показал, если бы не память покойной матери. А заступиться за нее было сейчас совсем некому. Эрнест умер, а Гарри, который занимался отделкой церкви, все время был где-нибудь в провинции. Кроме того, вечером по субботам непременно бывала свара из-за денег, которой она просто уже не могла больше переносить. Она всегда отдавала все свое жалованье, семь шиллингов, и Гарри тоже присылал сколько мог, но вся трудность была хоть что-то получить от отца. Он говорил, что она мотовка, что она безголовая, что ему денежки трудно достаются и он не собирается их отдать, чтобы она выкинула на улицу, и много чего еще говорил, вечером по субботам он бывал невозможный. В конце концов он давал деньги и спрашивал, намерена ли она покупать еду на воскресенье. Ей приходилось бежать за провизией со всех ног, толкаться в толпе, сжимая крепко черный кожаный кошелек, и потом возвращаться уже поздно с тяжелым грузом. Это была тяжелая работа, вести весь дом и еще следить, чтобы двое младших, оставшихся на ее попечении, как надо ходили в школу и как надо питались. Тяжелая работа, тяжелая жизнь – но сейчас, когда она вот-вот должна была от всего этого уехать, она не могла сказать, что это была уж совсем нежеланная жизнь.

Теперь ей предстояло узнать другую жизнь, с Фрэнком. Фрэнк был очень добрым, мужественным, прямодушным. Ей предстояло отправиться с ним ночным пароходом, и стать его женой, и жить с ним в Буэнос-Айресе, где ее ждал уже его дом. Она так ясно помнила их первую встречу; он жил в доме на большой улице, куда она заходила иногда. Казалось, это было каких-нибудь несколько недель назад. Он стоял у ворот, фуражка была сдвинута на затылок, и над загорелым лицом свисали взлохматившиеся волосы. Потом они познакомились. Каждый вечер он встречал ее после работы и провожал домой. Он ее сводил на «Цыганку», и она была в восторге, что она сидит с ним, и совсем в другой, непривычной части театра. Он страшно любил музыку и немножко пел. Люди знали о том, что они встречаются, и когда он пел про подружку моряка, она всегда чувствовала приятное смущение. Он ее в шутку звал Лапулька. Сначала ей просто было интересно, что у нее есть парень, а потом он ей стал нравиться. У него были всякие рассказы о дальних странах. Он начал юнгой, служил за фунт в месяц на пароходе линии Аллена, ходившем в Канаду. Он называл ей названия пароходов, на которых плавал, названия разных линий. Плавал он и через Магелланов пролив и рассказывал ей ужасные истории про патагонцев. Но в Буэнос-Айресе он окончательно бросил якорь, так он сказал, и сейчас

приехал на родину только в отпуск. Конечно, отец обо всем прознал и запретил ей иметь с ним дело.

– Знаю я этих морячков, – сказал он.

Потом он устроил ссору с Фрэнком, и с тех пор она со своим возлюбленным встречалась тайком.

Вечер за окном сгущался. Два письма, что лежали у нее на коленях, белели уже совсем смутно. Одно письмо было для Гарри, другое для отца. Больше всех она любила Эрнеста, но Гарри любила тоже. В последнее время, она заметила, отец начал стареть; ему будет ее не хватать. Иногда он бывал и очень милый. Не так давно, когда она слегла на один день, он ей прочел историю о привидениях и сделал для нее гренки на огне. А однажды, когда еще мать была жива, они все вместе ездили на пикник на мыс Хоут. Ей вспомнилось, как отец, чтобы посмешить детей, надел мамину шляпку.

Времени уже почти не было, а она все сидела у окна, прислонясь к занавеске и вдыхая запах пропыленного кретона. На улице где-то далеко играла уличная шарманка. Она знала этот мотив. Как странно, что он возник именно в эту ночь, напомнить ей об обещании, данном матери, – обещании беречь дом и вести его, пока она только сможет. Ей вспомнилась последняя ночь маминой болезни; она была снова в темной, тесной комнатке рядом с прихожей и слышала на улице унылый итальянский мотив. Шарманщику дали шестипенсовик и велели уходить. Отец с важным видом вернулся в комнату к больной и сказал:

– Проклятые итальяшки! и чего они лезут к нам!

В ее раздумьях жалкое зрелище жизни матери наложило печать и на ее собственное существование в самом его зародыше, – зрелище этой жизни из повседневных жертв, завершившейся безумием. Она вздрогнула, когда в ней снова прозвучал голос матери, без конца повторявший с полоумным упорством:

– Derevaun Seraun! Derevaun Seraun![66]

Охваченная порывом ужаса, она вскочила. Бежать! Надо бежать! Фрэнк спасет ее. Он даст ей жизнь, а может быть, и любовь. Она хочет жить. Почему она должна быть несчастной? У нее есть право на счастье. Фрэнк обнимет ее, укроет ее в своих объятиях. Он спасет ее.

* * *

Она стояла среди колышущейся толпы на пристани Норс-Уолл. Он держал ее за руку, и она знала, что он что-то ей говорит, еще и еще раз что-то о переезде. Пристань была полна солдат с бурыми вещмешками. За широкими воротами угадывалась черная туша парохода, лежащая вдоль стены набережной, светились иллюминаторы. Она ничего не отвечала. Она

чувствовала, что щеки у нее похолодели и побледнели, мысли запутались, и в смятении молила Бога наставить ее, указать ей, в чем ее долг. Пароход в тумане издал протяжный, скорбный гудок. Если она уедет, завтра она будет в море вместе с Фрэнком, на пути к Буэнос-Айресу. Билеты им были куплены. Разве она могла сейчас отказаться, после всего, что он для нее сделал? Смятение вызвало у нее приступ тошноты; губы ее шевелились в истовой беззвучной молитве.

Удар колокола отдался у нее в сердце. Она почувствовала, как он схватил ее за руку:

– Пойдем!

Волны всех морей мира обрушились на ее сердце. Он ее тащит в эту пучину – он ее утопит! Обеими руками она вцепилась в железные перила.

– Иди!

Нет! Нет! Нет! Это невозможно. Руки ее судорожно стискивали железо. Поглощаемая пучиной, она издала вопль отчаяния.

– Эвелин! Эви!

Он пересек второпях барьер и звал ее за собой. Ему кричали идти на борт, но он все звал ее. Она обратила к нему побелевшее лицо, безвольно застывшая, как затравленное животное. Глаза были направлены на него, но в них не было никакого знака любви, или прощания, или узнавания.

Рэй Брэдбери «Вельд»

- Джорджи, пожалуйста, посмотри детскую комнату.

- А что с ней?

- Не знаю.

- Так в чем же дело?

- Ни в чем, просто мне хочется, чтобы ты ее посмотрел или пригласи психиатра, пусть он посмотрит.

- При чем здесь психиатр?

- Ты отлично знаешь при чем. - стоя по среди кухни, она глядела на плиту, которая, деловито жужжа, сама готовила ужин на четверых. - Понимаешь, детская изменилась, она совсем не такая, как прежде.

- Ладно, давай посмотрим.

Они пошли по коридору своего звуконепроницаемого дома, типа: "Все для счастья", который стал им в тридцать тысяч долларов (с полной обстановкой), - дома, который их одевал, кормил, холил, укачивал, пел и играл им. Когда до детской оставалось пять шагов, что-то щелкнуло, и в ней зажегся свет. И в коридоре, пока они шли, один за другим плавно, автоматически загорались и гасли светильники.

- Ну, - сказал Джордж Хедли.

Они стояли на крытом камышовой циновкой полу детской комнаты. Сто сорок четыре квадратных метра, высота - десять метров; она стоила пятнадцать тысяч. "Дети должны получать все самое лучшее", - заявил тогда Джордж.

Тишина. Пусто, как на лесной прогалине в знойный полдень. Гладкие двумерные стены. На глазах у Джорджа и Лидии Хедли они, мягко жужжа, стали таять, словно уходя в прозрачную даль, и появился африканский вельд - трехмерный, в красках, как настоящий, вплоть до мельчайшего камешка и травинки. Потолок над ними превратился в далекое небо с жарким желтым солнцем.

Джордж Хедли ощутил, как на лбу у него проступает пот.

- Лучше уйдем от солнца, - предложил он, - уж больно естественное. И вообще, я ничего такого не вижу, все как будто в порядке.

- Подожди минуточку, сейчас увидишь, - сказала жена.

В этот миг скрытые одорофоны, вступив в действие, направили волну запахов на двоих людей, стоящих среди опаленного солнцем вельда. Густой, сушащий ноздри запах жухлой травы, запах близкого водоема, едкий, резкий запах животных, запах пыли, которая клубилась в раскаленном

воздухе, облачком красного перца. А вот и звуки: далекий топот антилопых копыт по упругому дерну, шуршащая поступь крадущихся хищников.

В небе проплыл силуэт, по обращенному вверх потному лицу Джорджа Хедли скользнула тень.

- Мерзкие твари, - услышал он голос жены, стервятники...

- Смотри-ка, львы, вон там, в дали, вон, вон! Пошли на водопой. Видишь, они там что-то ели.

- Какое-нибудь животное. - Джордж Хедли защитил воспаленные глаза ладонью от слепящего солнца, - зебру... Или жирафенка...

- Ты уверен? - ее голос прозвучал как-то странно.

- Теперь-то уверенным быть нельзя, поздно, - шутливо ответил он. - Я вижу только обглоданные кости да стервятников, которые подбирают ошметки.

- Ты не слышал крика? - спросила она.

- Нет.

- Так с минуту назад?

- Ничего не слышал.

Львы медленно приближались. И Джордж Хедли - в который раз - восхитился гением конструктора, создавшего эту комнату. Чудо совершенства - за абсурдно низкую цену. Всем бы домовладельцам такие! Конечно, иногда они отталкивают своей клинической продуманностью, даже пугают, вызывают неприятное чувство, но чаще всего служат источником забавы не только для вашего сына или дочери, но и для вас самих, когда вы захотите развлечься короткой прогулкой в другую страну, сменить обстановку. Как сейчас, например!

Вот они, львы, в пятнадцати футах, такие правдоподобные - да-да, такие, до ужаса, до безумия правдоподобные, что ты чувствуешь, как твою кожу щекочет жесткий синтетический мех, а от запаха разгоряченных шкур у тебя во рту вкус пыльной обивки, их желтизна отсвечивает в твоих глазах желтизной французского гобелена... Желтый цвет львиной шкуры, жухлой травы, шумное львиное дыхание в тихий полуденный час, запах мяса из открытой, влажной от слюны пасти.

Львы остановились, глядя жуткими желто-зелеными глазами на Джорджа и Лидию Хедли.

- Берегись! - вскрикнула Лидия.

Львы ринулись на них.

Лидия стремглав бросилась к двери, Джордж непроизвольно побежал следом. И вот они в коридоре, дверь захлопнута, он смеется, она плачет, и каждый озадачен реакцией другого.

- Джордж!

- Лидия! Моя бедная, дорогая, милая Лидия!

- Они чуть не схватили нас!

- Стены, Лидия, светящиеся стены, только и всего. Не забывай. Конечно, я не спорю, они выглядят очень правдоподобно - Африка в вашей гостиной! - но это лишь повышенного воздействия цветной объемный фильм и психозапись, проектируемые на стеклянный экран, одорофоны и стереозвук. Вот возьми мой платок.

- Мне страшно. - она подошла и всем телом прильнула к нему, тихо плача. - Ты видел? Ты почувствовал? Это чересчур правдоподобно.

- Послушай, Лидия...

- Скажи Венди и Питеру, чтобы они больше не читали про Африку.

- Конечно... Конечно. - он погладил ее волосы. - Обещаешь?

- Разумеется.

- И запри детскую комнату на несколько дней, пока я не справлюсь с нервами.

- Ты ведь знаешь, как трудно с Питером. Месяц назад я наказал его, запер детскую комнату на несколько часов - что было! Да и Венди тоже... Детская для них - все.

- Ее нужно запереть, и никаких поблажек.

- Ладно. - он неохотно запер тяжелую дверь. - Ты переутомилась, тебе нужно отдохнуть.

- Не знаю... Не знаю. - Она высморкалась и села в кресло, которое тотчас тихо закачалось. Возможно, у меня слишком мало дела. Возможно, осталось слишком много времени для размышлений. Почему бы нам на несколько дней не запереть весь дом, не уехать куда-нибудь.

- Ты хочешь сказать, что готова жарить мне яичницу?

- Да. - Она кивнула.

- И штопать мои носки?

- Да. - Порывистый кивок, глаза полны слез.

- И заниматься уборкой?

- Да, да... Конечно!

- А я-то думал, мы для того и купили этот дом, чтобы ничего не делать самим?

- Вот именно. Я здесь вроде ни к чему. Дом - и жена, и мама, и горничная. Разве я могу состязаться с африканским вельдом, разве могу искупать и отмыть детей так быстро и чисто, как это делает автоматическая ванна? Не могу. И не во мне одной дело, а и в тебе тоже. Последнее время ты стал ужасно нервным.

- Наверно, слишком много курю.

- у тебя такой вид, словно и ты не знаешь куда себя деть в этом доме. Куришь немного больше обычного каждое утро, выпиваешь немного больше обычного по вечерам, и принимаешь на ночь снотворного больше обычного. Ты тоже начинаешь чувствовать себя ненужным.

- Я?.. - он молчал, пытаясь заглянуть в собственную душу и понять, что там происходит.

- О, Джорджи! - Она поглядела мимо него на дверь детской комнаты. - Эти львы... Они ведь не могут выйти оттуда?

Он тоже посмотрел на дверь - она вздрогнула, словно от удара изнутри.

- Разумеется, нет, - ответил он.

Они ужинали одни. Венди и Питер отправились на специальный стереокарнавал на другом конце города и сообщили домой по видеофону, что вернуться поздно, не надо их ждать. Озабоченный Джордж Хедли смотрел, как стол-автомат исторгает из своих механических недр горячие блюда.

- Мы забыли кетчуп, - сказал он.

- Простите, - произнес тонкий голосок изнутри стола и появился кетчуп.

"Детская... - подумал Джордж Хедли. - Что ж, детям и впрямь невредно некоторое время пожить без нее. Во всем нужна мера. А они, это совершенно ясно, слишком уж увлекаются Африкой". Это солнц е... Он до сих пор чувствовал на шее его лучи - словно прикосновение горячей лапы. А эти львы. И запах крови. удивительно, как точно детская улавливает телепатическую эманацию психики детей и воплощает любое их пожелание. Стоит им подумать о львах - пожалуйста, вот они. Представят себе зебр - вот зебры. И солнце. И жирафы. И смерть.

Вот именно. Он механически жевал пищу, которую ему приготовил стол. Мысли о смерти. Венди и Питер слишком молоды для таких

мыслей. А впрочем, разве дело в возрасте. Задолго то того, как ты понял, что такое смерть, ты уже желаешь смерти кому-нибудь. В два года ты стреляешь в людей из пугача...

Но это... Жаркий безбрежный африканский вельд... ужасная смерть в когтях льва. Снова и снова смерть.

- Ты куда?

Он не ответил ей. Поглощенный своими мыслями, он шел, провожаемый волной света, к детской. Он приложил ухо к двери. Оттуда донесся львиный рык.

Он отпер дверь и распахнул ее. В тот же миг его слуха коснулся далекий крик. Снова рычание львов... Тишина.

Он вошел в Африку. Сколько раз за последний год он, открыв дверь, встречал Алису в Стране Чудес или Фальшивую Черепаху, или Алладина с его волшебной лампой, или Джека-Тыквенную-Голову из Страны Оз, или доктора Дулиттла, или корову, которая прыгала через луну, очень похожую на настоящую, - всех этих чудесных обитателей воображаемого мира. Сколько раз видел он летящего в небе пегаса, или розовые фонтаны фейерверка, или слышал ангельское пение. А теперь перед ним - желтая, раскаленная Африка, огромная печь, которая пышет убийством. Может быть Лидия права. Может, надо и впрямь на время расстаться с фантазией, которая стала чересчур реальной для десятилетних детей. Разумеется, очень полезно упражнять воображение человека. Но если пылкая детская фантазия увлекается каким-то одним мотивом?.. Кажется, весь последний месяц он слышал львиный рык. Чувствовал даже у себя в кабинете резкий запах хищников, да по занятости не обращал внимания...

Джордж Хедли стоял один в степях. Африки Львы, оторвавшись от своей трапезы, смотрели на пего. Полная иллюзия настоящих зверей - если бы не открытая дверь, через которую он видел в дальнем конце темного коридора, будто портрет в рамке, рассеянно ужинавшую жену.

- Уходите, - сказал он львам.

Они не послушались.

Он отлично знал устройство комнаты. Достаточно послать мысленный приказ, и он будет исполнен.

- Пусть появится Аладдин с его лампой, - рявкнул он. По-прежнему вельд, и все те же львы...

- Ну, комната, действуй! Мне нужен Аладдин.

Никакого впечатления. Львы что-то грызли, трясая косматыми гривами.

- Аладдин!

Он вернулся в столовую.

- Проклятая комната, - сказал он, - поломалась, не слушается.

- Или...

- Или что?

- Или НЕ МОЖЕТ послушаться, - ответила Лидия. - Потому что дети уже столько дней думают про Африку, львов и убийства, что комната застряла на одной комбинации.

- Возможно.

- Или же Питер заставил ее застрять.

- ЗАСТАВИЛ?

- Открыл механизм и что-нибудь подстроил.

- Питер не разбирается в механизме.

- Для десятилетнего парня он совсем не глуп. Коэффициент его интеллекта...

- И все-таки...

- Хелло, мам! Хелло, пап!

Супруги Хедли обернулись. Венди и Питер вошли в прихожую: щеки - мятный леденец, глаза - ярко-голубые шарики, от джемперов так и веет озоном, в котором они купались, летя на вертолете.

- Вы как раз успели к ужину, - сказали родители вместе.

- Мы наелись земляничного мороженого и сосисок, - ответили дети, отмахиваясь руками. - Но мы посидим с вами за столом.

- Вот-вот, подойдите-ка сюда, расскажите про детскую, - позвал их Джордж Хедли.

Брат и сестра удивленно посмотрели на него, потом друг на друга.

- Детскую?

- Про Африку и все прочее, - продолжал отец с наигранным добродушием.

- Не понимаю, - сказал Питер.

- Ваша мать и я только что совершили путешествие по Африке: Том Свифт и его Электрический Лев, - усмехнулся Джордж Хедли.

- Никакой Африки в детской нет, - невинным голосом возразил Питер.

- Брось, Питер, мы-то знаем.

- Я не помню никакой Африки. - Питер повернулся к Венди. - А ты?

- Нет.

- А ну, сбегай, проверь и скажи нам.

Она повиновалась брату.

- Венди, вернись! - позвал Джордж Хедли, но она уже ушла. Свет провожал ее, словно рой светлячков. Он слишком поздно сообразил, что забыл запереть детскую.

- Венди посмотрит и расскажет нам, - сказал Питер.

- Что мне рассказывать, когда я сам видел.

- Я уверен, отец, ты ошибся.

- Я не ошибся, пойдем-ка.

Но Венди уже вернулась.

- Никакой Африки нет, - доложила она, запыхавшись.

- Сейчас проверим, - ответил Джордж Хедли.

Они вместе пошли по коридору и отворили дверь в детскую.

Чудесный зеленый лес, чудесная река, пурпурная гора, ласкающее слух пение, а в листве - очаровательная таинственная Рима, на длинных распущенных волосах которой, словно ожившие цветы, трепетали многоцветные бабочки. Ни африканского вельда, ни львов. Только Рима, поющая так восхитительно, что невольно на глазах выступают слезы.

Джордж Хедли внимательно осмотрел новую картину.

- Ступайте спать, - велел он детям.

Они открыли рты.

- Вы слышали?

Они отправились в пневматический отсек и взлетели, словно сухие листья, вверх по шахте в свои спальни.

Джордж Хедли пересек звенящую птичьими голосами полянку и что-то подобрал в углу, поблизости от того места, где стояли львы. Потом медленно возвратился к жене.

- Что это у тебя в руке?

- Мой старый бумажник, - ответил он и протянул его ей.

От бумажника пахло жухлой травой и львами. На нем были капли слюны, и следы зубов, и с обеих сторон пятна крови.

Он затворил дверь детской и надежно ее запер.

В полночь Джордж все еще не спал, и он знал, что жена тоже не спит.

- Так ты думаешь, Венди ее переключила? - спросила она наконец в темноте.

- Конечно.

- Превратила вельд в лес и на место львов вызвала Риму?

- Да.

- Но зачем?

- Не знаю. Но пока я не выясню, комната будет заперта.

- Как туда попал твой бумажник?

- Не знаю, - ответил он, - ничего не знаю, только одно: я уже жалею, что мы купили детям эту комнату. И без того они нервные, а тут еще такая комната...

- Ее назначение в том и состоит, чтобы помочь им избавиться от своих неврозов.

- Ой, так ли это... - он посмотрел на потолок.

- Мы давали детям все, что они просили. А в награду что получаем - непослушание, секреты от родителей...

- Кто это сказал: "Дети - ковер, иногда на них надо наступать"... Мы ни разу не поднимали на них руку. Скажем честно - они стали несносны. Уходят и приходят, когда им вздумается, с нами обращаются так, словно мы - их отпрыски. Мы их портим, они нас.

- Они переменялись с тех самых пор - помнишь, месяца два-три назад, - когда ты запретил им лететь на ракете в Нью-Йорк.

- Я им объяснил, что они еще малы для такого путешествия.

- Объяснил, а я вижу, как они с того дня стали хуже к нам относиться.

- Я вот что сделаю: завтра приглашу Дэвида Макклина и попрошу взглянуть на эту Африку.

- Но ведь Африки нет, теперь там сказочная страна и Рима.

- Сдается мне, к тому времени снова будет Африка.

Мгновением позже он услышал крики.

Один... другой... Двое кричали внизу. Затем - рычание львов.

- Венди и Питер не спят, - сказала ему жена.

Он слушал с колотящимся сердцем.

- Да, - отозвался он. - Они проникли в детскую комнату.

- Эти крики... они мне что-то напоминают.

- В самом деле?

- Да, мне страшно.

И как ни трудились кровати, они еще целый час не могли укачать супругов Хедли. В ночном воздухе пахло кошками.

- Отец, - сказал Питер.

- Да?

Питер разглядывал носки своих ботинок. Он давно избегал смотреть на отца, да и на мать тоже.

- Ты что же, навсегда запер детскую?

- Это зависит...

- От чего? - резко спросил Питер.

- От тебя и твоей сестры. Если вы не будете чересчур увлекаться этой Африкой, станете ее чередовать... скажем, со Швецией, или Данией, или Китаем.

- Я думал, мы можем играть во что хотим.

- Безусловно, в пределах разумного.

- А чем плоха Африка, отец?

- Так ты все-таки признаешь, что вызывал Африку!

- Я не хочу, чтобы запирали детскую, - холодно произнес Питер.
- Никогда.

- Так позволь сообщить тебе, что мы вообще собираемся на месяц оставить этот дом. Попробуем жить по золотому принципу: "Каждый делает все сам".

- Ужасно! Значит, я должен сам шнуровать ботинки, без автоматического шнуровальщика? Сам чистить зубы, причесываться, мыться?

- Тебе не кажется, что это будет даже приятно для разнообразия?

- Это будет отвратительно. Мне было совсем не приятно, когда ты убрал автоматического художника.

- Мне хотелось, чтобы ты научился рисовать, сынок.

- Зачем? Достаточно смотреть, слушать и обонять! Других стоящих занятий нет.

- Хорошо, ступай, играй в Африке.

- Так вы решили скоро выключить наш дом?

- Мы об этом подумывали.

- Советую тебе подумать еще раз, отец.

- - Но-но, сынок, без угроз!

- Отлично. - И Питер отправился в детскую.

- Я не опоздал? - спросил Дэвид Макклин.

- Завтрак? - предложил Джордж Хедли.

- Спасибо, я уже. Ну, так в чем дело?

- Дэвид, ты разбираешься в психике?

- Как будто.

- Так вот, проверь, пожалуйста, нашу детскую. Год назад ты в нее заходил - тогда заметил что-нибудь особенное?

- Вроде нет. Обычные проявления агрессии, тут и там налет паранойи, присущей детям, которые считают, что родители их постоянно преследуют. Но ничего, абсолютно ничего серьезного.

Они вышли в коридор.

- Я запер детскую, - объяснил отец семейства, - а ночью дети все равно проникли в нее. Я не стал вмешиваться, чтобы ты мог посмотреть на их затеи.

Из детской доносились ужасные крики.

- Вот-вот, - сказал Джордж Хедли. - Интересно, что ты скажешь?

Они вошли без стука.

Крики смолкли, львы что-то пожирали.

- Ну-ка. дети, ступайте в сад, - распорядился Джордж Хедли - Нет-нет, не меняйте ничего, оставьте стены, как есть. Марш!

Оставшись вдвоем, мужчины внимательно посмотрели на львов, которые сгрудились поодаль, жадно уничтожая свою добычу.

- Хотел бы я знать, что это, - сказал Джордж Хедли. - Иногда мне кажется, что я вижу... Как думаешь, если принести сильный бинокль...

Девид Макклин сухо усмехнулся.

- Вряд ли...

Он повернулся, разглядывая одну за другой все четыре стены.

- Давно это продолжается?

- Чуть больше месяца.

- Да, ощущение неприятное.

- Мне нужны факты, а не чувства.

- Дружище Джордж, найди мне психиатра, который наблюдал бы хоть один факт. Он слышит то, что ему сообщают об ощущениях, то есть нечто весьма неопределенное. Итак, я повторяю: это производит гнетущее впечатление. Положись на мой инстинкт и мое предчувствие. Я всегда чувствую, когда назревает беда. Тут кроется что-то очень скверное. Советую вам совсем выключить эту проклятую комнату и минимум год ежедневно приводить ко мне ваших детей на процедуры.

- Неужели до этого дошло?

- Боюсь, да. Первоначально эти детские были задуманы, в частности, для того, чтобы мы, врачи, без обследования могли по картинам на стенах изучать психологию ребенка и исправлять ее. Но в данном случае детская, вместо того чтобы избавлять от разрушительных наклонностей, поощряет их!

- Ты это и раньше чувствовал?

- Я чувствовал только, что вы больше других балуете своих детей. А теперь закрутили гайку. Что произошло?

- Я не пустил их в Нью-Йорк.

- Еще?

- Убрал из дома несколько автоматов, а месяц назад пригрозил запереть детскую, если они не будут делать уроков. И действительно запер на несколько дней, чтобы знали, что я не шучу.

- Ага!

- Тебе это что-нибудь говорит?

- Все. На место рождественского деда пришел бука. Дети предпочитают рождественского деда. Ребенок не может жить без привязанностей. Вы с женой позволили этой комнате, этому дому занять ваше место в их сердцах. Детская комната стала для них матерью и отцом, оказалась в их жизни куда важнее подлинных родителей. Теперь вы хотите ее запереть. Не удивительно, что здесь появилась ненависть. Вот - даже небо излучает ее. И солнце. Джордж, вам надо переменить образ жизни. Как и для многих других - слишком многих, - для вас главным стал комфорт. Да если завтра на кухне что-нибудь поломается, вы же с голоду помрете. Не сумеете сами яйца разбить! И все-таки советую выключить все. Начните новую жизнь. На это понадобится время. Ничего, за год мы из дурных детей сделаем хороших, вот увидишь.

- А не будет ли это слишком резким шоком для ребят - вдруг запереть навсегда детскую?

- Я не хочу, чтобы зашло еще дальше, понимаешь?

Львы кончили свой кровавый пир.

Львы стояли на опушке, глядя на обоих мужчин.

- Теперь я чувствую себя преследуемым, - произнес Макклин. - Уйдем. Никогда не любил эти проклятые комнаты. Они мне действуют на нервы.

- А львы - совсем как настоящие, верно? - сказал Джордж Хедли.

- Ты не допускаешь возможности...

- Что?!

- ...что они могут стать настоящими?

- По-моему, нет.

- Какой-нибудь порок в конструкции, переключение в схеме или еще что-нибудь?

- Нет.

Они пошли к двери.

- Мне кажется, комнате не захочется, чтобы ее выключали, - сказал Джордж Хедли.

- Никому не хочется умирать, даже комнате.

- Интересно: она ненавидит меня за мое решение?

- Здесь все пропитано паранойей, - ответил Дэвид Макклин. - До осязаемости. Эй! - Он нагнулся и поднял окровавленный шарф. - Твой?

- Нет. - Лицо Джорджа окаменело. - Это Лидии.

Они вместе пошли к распределительному щитку и повернули выключатель, убивающий детскую комнату.

Дети были в истерике. Они кричали, прыгали, швыряли вещи. Они вопили, рыдали, бранились, метались по комнатам.

- Вы не смеее так поступать с детской комнатой, не смеее!

- Угмонитесь, дети.

Они в слезах бросились на диван.

- Джордж, - сказала Лидия Хедли, - включи детскую на несколько минут. Нельзя так вдруг.

- Нет.

- Это слишком жестоко.

- Лидия, комната выключена и останется выключенной. И вообще, пора кончать с этим проклятым домом. Чем больше я смотрю на все это безобразие, тем мне противнее. И так мы чересчур долго созерцали свой механический электронный пуп. Видит бог, нам необходимо сменить обстановку!

И он стал ходить из комнаты в комнату, выключая говорящие часы, плиты, отопление, чистильщиков обуви, механические губки, мочалки, полотенца, массажистов и все прочие автоматы, которые попадались под руку.

Казалось, дом полон мертвецов. Будто они очутились на кладбище механизмов. Тишина. Смолкло жужжание скрытой энергии машин, готовых вступить в действие при первом же нажиме на кнопки.

- Не позволяй им это делать! - завопил Питер, подняв лицо к потолку, словно обращаясь к дому, к детской комнате - Не позволяй отцу убивать все. - Он повернулся к отцу. - До чего же я тебя ненавижу!

- Оскорблениями ты ничего не достигнешь.

- Хоть бы ты умер!

- Мы долго были мертвыми. Теперь начнем жить по-настоящему. Мы привыкли быть предметом забот всевозможных автоматов - отныне мы будем жить.

Венди по-прежнему плакала. Питер опять присоединился к ней.

- Ну, еще немножечко, на минуточку, только на минуточку! - кричали они.

- Джордж, - сказала ему жена, - это им не повредит.

- Ладно, ладно, пусть только замолчат. На одну минуту, учтите, потом выключу совсем.

- Папочка, папочка, папочка! - запели дети, улыбаясь сквозь слезы.

- А потом - каникулы. Через полчаса вернется Дэвид Маккллин, он поможет нам собраться и проводит на аэродром. Я пошел одеваться. Включи детскую на одну минуту, Лидия, слышишь - не больше одной минуты.

Дети вместе с матерью, весело болтая, поспешили в детскую, а Джордж, взлетев наверх по воздушной шахте, стал одеваться. Через минуту появилась Лидия.

- Я буду рада, когда мы покинем этот дом, - вздохнула она.

- Ты оставила их в детской?

- Мне тоже надо одеться. О, эта ужасная Африка. И что они в ней видят?

- Ничего, через пять минут мы будем на пути в Айову. Господи, какая сила загнала нас в этот домр.. Что нас побудило купить этот кошмар!

- Гордыня, деньги, глупость.

- Пожалуй, лучше спуститься, пока ребята опять не увлеклись своим чертовым зверинцем.

В этот самый миг они услышали голоса обоих детей.

- Папа, мама, скорей, сюда, скорей!

Они спустились по шахте вниз и ринулись бегом по коридору. Детей нигде не было видно.

- Венди! Питер!

Они ворвались в детскую. В пустынном вельде - никого, ни души, если не считать львов, глядящих на и их.

- Питер! Венди!

Дверь захлопнулась.

Джордж и Лидия Хедли метнулись к выходу.

- Откройте дверь! - закричал Джордж Хедли, дергая ручку. - Зачем вы ее заперли? Питер! - Он заколотил в дверь кулаками. - Открой!

За дверью слышался голос Питера:

- Не позволяй им выключать детскую комнату и весь дом.

Мистер и миссис Джордж Хедли стучали в дверь.

- Что за глупые шутки, дети! Нам пора ехать. Сейчас придет мистер Макклин и...

И тут они слышали...

Львы с трех сторон в желтой траве вельда, шуршание сухих стеблей под их лапами, рокот в их глотках.

Львы.

Мистер Хедли посмотрел на жену, потом они вместе повернулись лицом к хищникам, которые медленно, припадая к земле, подбирались к ним.

Мистер и миссис Хедли закричали.

И вдруг они поняли, почему крики, которые они слышали раньше, казались им такими знакомыми.

- Вот и я, - сказал Дэвид Макклин, стоя на пороге детской комнаты. - О, привет!

Он удивленно воззрился на двоих детей, которые сидели на поляне, уписывая ленч. Позади них был водоем и желтый вельд; над головами - жаркое солнце. У него выступил пот на лбу.

- А где отец и мать?

Дети обернулись к нему с улыбкой.

- Они сейчас придут.

- Хорошо, уже пора ехать.

Мистер Макклин заметил вдали львов - они из-за чего-то дрались между собой, потом успокоились и легли с добычей в тени деревьев.

Заслонив глаза от солнца ладонью, он присмотрелся внимательнее.

Львы кончили есть и один за другим пошли на водопой.

Какая-то тень скользнула по разгоряченному лицу мистера Макклина. Много теней. С ослепительного неба спускались стервятники.

- Чашечку чаю? - прозвучал в тишине голос Венди.

Эдгар По «Сердце-обличитель»

Правда! Я нервный - очень даже нервный, просто до ужаса, таким уж уродился; но как можно называть меня сумасшедшим? От болезни чувства мои только обострились - они вовсе не ослабели, не притупились. И в особенности - тонкость слуха. Я слышал все, что совершалось на небе и на земле. Я слышал многое, что совершалось в аду. Какой я после этого сумасшедший? Слушайте же! И обратите внимание, сколь здраво, сколь рассудительно могу я рассказать все от начала и до конца.

Сам не знаю, когда эта мысль пришла мне в голову; но, явившись однажды, она уже не покидала меня ни днем, ни ночью. Никакого повода у меня не было. И бешенства я никакого не испытывал. Я любил этого старика. Он ни разу не причинил мне зла. Ни разу не нанес обиды. Золото его меня не прельщало. Пожалуй, виной всему был его глаз! Да, именно! Один глаз у него был, как у хищной птицы, - голубоватый, подернутый пленкой. Стоило ему глянуть на меня, и кровь стыла в моих жилах; мало-помалу, исподволь, я задумал прикончить старика и навсегда избавиться от его глаза.

В этом-то вся суть. По-вашему, я сумасшедший. Сумасшедшие ничего не соображают. Но видели бы вы меня. Видели бы вы, как мудро я действовал - с какой осторожностью, с какой предусмотрительностью, с каким искусным притворством принялся я за дело! Всю неделю, перед тем как убить старика, я был с ним сама любезность. И всякую ночь, около полуночи, я поднимал щеколду и приотворял его дверь - тихо-тихо! А потом, когда в щель могла войти моя голова, я вводил туда затемненный фонарь, закрытый наглухо, так плотно, что и капли света не могло просочиться, а следом засовывал и голову. Ах, вы не удержались бы от смеха, если б видели, до чего ловко я ее засовывал! Я делал это медленно - очень, очень медленно, чтобы не потревожить сон старика. Лишь через час голова моя оказывалась внутри, так что я мог видеть старика на кровати. Ха!.. Да разве мог бы сумасшедший действовать столь мудро? А когда моя голова проникала в комнату, я открывал фонарь с осторожностью - с превеликой осторожностью, - открывал его (ведь петли могли скрипнуть) ровно настолько, чтобы один-единственный тоненький лучик упал на птичий глаз. И все это я проделывал семь долгих ночей - всегда ровно в полночь, - но глаз неизменно бывал закрыт, и я никак не мог покончить с делом, потому что не сам старик досаждал мне, а его Дурной Глаз. И всякое утро, когда светало, я преспокойно входил в комнату и без робости заговаривал с ним, приветливо окликал его по имени и справлялся, как ему спалось ночью. Сами видите, лишь очень проницательный человек мог бы заподозрить, что каждую ночь, ровно в двенадцать, я заглядывал к нему, пока он спал.

На восьмую ночь я отворил дверь с особенной осторожностью. Рука моя скользила медленней, чем минутная стрелка на часах. До той ночи я никогда еще так не упивался своим могуществом, своей прозорливостью. Я едва мог сдерживать торжество. Подумать только, я потихоньку отворял дверь, а старику и во сне не снились мои тайные дела и помыслы. Когда это пришло

мне на ум, я даже приснул со смеху, и он, верно, услышал, потому что вдруг шевельнулся, потревоженный во сне. Вы, может быть, подумаете, что я отступил - но ничуть не бывало. В комнате у него было темным-темно (он боялся воров и плотно закрывал ставни), поэтому я знал, что он не видит, как приотворяется дверь, и потихоньку все налегал на нее, все налегал.

Я просунул голову внутрь и хотел уже было открыть фонарь, даже нащупал пальцем жестяную защелку, но тут старик подскочил, сел на кровати и крикнул: "Кто там?"

Я затаился и молчал. Целый час я простоял не шелохнувшись, и все это время не слышно было, чтобы он опять пег. Он сидел на кровати и прислушивался - точно так же, как я ночь за ночью прислушивался к бессонной гробовой тишине в четырех стенах.

Но вот я услышал слабый стон и понял, что стон этот исторгнут смертным страхом. Не боль, не горесть исторгли его, - о нет! - то было тихое, сдавленное стенание, какое изливается из глубины души, терзаемой страхом. Уж я-то знаю. Сколько раз, ровно в полночь, когда весь мир спал, этот стон рвался из собственной моей груди, умножая своим зловещим эхом страхи, которые раздирали меня. Кому уж знать, как не мне. Я знал, что чувствует старик, и жалел его, но все же посмеивался над ним про себя. Я звал, что ему стало не до сна с того самого мгновения, как легкий шум заставил его шевельнуться на кровати. Ужас одолевал его все сильнее. Он пытался убедить себя, что это пустое беспокойство, и не мог. Он твердил себе: "Это всего лишь ветер прошелестел в трубе, это только мышка прошмыгнула по полу", - или: "Это попросту сверчок застрекотал и умолк". Да, он пытался успокоить себя такими уговорами; но все было тщетно. Все тщетно; потому что черная тень Смерти подкрадывалась к нему и уже накрыла свою жертву. И неотвратимое присутствие этой бесплотной тени заставило его почувствовать - незримо и неслышимо почувствовать, что моя голова здесь, в комнате.

Я ждал долго и терпеливо, но не слышал, чтобы он пег снова, и тогда решился приоткрыть фонарь - разомкнуть тонкую-пре-тонкую щелочку. Я стал его приоткрывать - спокойно-преспокойно, так что трудно даже этому поверить, - и вот наконец один-единственный лучик не толще паутинки пробился сквозь щель и упал на птичий глаз.

Он был открыт, широко-прешироко открыт, и от одного его вида я пришел в ярость. Он был передо мной как на ладони, - голубоватый, подернутый отвратительной пленкой, от которой я весь похолодел, но лицо и все тело старика скрывала темнота, потому что я, словно по наитию, направил луч прямо в проклятую глазницу.

Ну, не говорил ли я вам, что вы полагаете сумасшествием лишь крайнее обострение чувств? Так вот, в ушах у меня послышался тихий, глухой, частый стук, будто тикали часы, завернутые в вату. Мне ли не знать этого звука. То

билося сердце старика. Его удары распалили мою ярость, подобно тому как барабанный бой будит отвагу в душе солдата.

Но даже тогда я сдержал себя и не шелохнулся. Я затаил дыхание. Фонарь не дрогнул в моей руке. Я проверил, насколько твердо я могу удерживать луч, направленный в его глаз. А меж тем адский барабанный грохот сердца нарастал. Что ни миг, он становился все быстрее и быстрее, все громче и громче. Страх старика неотвратимо дошел до крайности! С каждым мгновением сердце его билось все громче, да, все громче!.. Понятно вам? Я же сказал, что я нервный: это так. И тогда, глухой ночью, в зловещем безмолвии старого дома, неслыханный этот звук поверг меня самого в беспредельный ужас. И все же еще несколько минут я сдерживал себя и не шелохнулся. Но удары звучали все громче, громче! Казалось, сердце вот-вот разорвется. И тут у меня возникло новое опасение - ведь стук мог услышать кто-нибудь из соседей! Час старика пробил! С громким воплем я сорвал заслонку с фонаря и прыгнул в комнату. Старик вскрикнул только раз - единственный раз. Я мигом стащил его на пол и придавил тяжелой кроватью. Дело было сделано на славу, и я сиял от радости. Но долгие минуты сердце еще глухо стучало. Однако это меня не беспокоило; теперь уж его не могли услышать за стеной. Наконец все смолкло. Старик был мертв. Я оттащил кровать и осмотрел труп. Да, он был навеки, навеки мертв. Я приложил руку к его груди, против сердца, и держал так долгие минуты. Сердце не билось. Он был навеки мертв. Его глаз больше не потревожит меня.

Если вы все еще считаете меня сумасшедшим, вам придется переменить свое мнение, когда я расскажу о тех мудрых предосторожностях, с какими я спрятал тело. Ночь была уже на исходе, и я действовал поспешно, но без шума. Первым делом я расчленил труп. Отрезал голову, руки и ноги.

Потом я оторвал три половицы и уложил все останки меж брусьев. После этого приладил доски на место так хитроумно, так ловко, что никакой человеческий глаз - даже его глаз - не заметил бы ничего подозрительного. Смывать следы не пришлось: нигде ни пятнышка, ни капельки крови. Уж об этом я позаботился. Все попало прямехонько в таз - ха-ха!

Когда я управился со всем этим, было уже четыре часа - но темнота стояла такая же, как в полночь. Едва колокол пробил четыре, в парадную дверь постучали. Я спустился вниз и открыл со спокойной душой - чего мне теперь было бояться? Вошли трое и как нельзя более учтиво сообщили, что они из полиции. Сосед слышал ночью крик; возникло подозрение, что совершено злодеяние; об этом сообщили в полицейский участок, и они (полицейские) получили приказ обыскать дом.

Я улыбнулся - в самом деле, чего мне было бояться? Я любезно пригласил их в комнаты. Я объяснил, что это сам я вскрикнул во сне. А старика нет, заметил я мимоходом, он уехал из города. Я водил их по всему дому. Я просил искать - искать хорошенько. Наконец я провел их в его

комнату. Я показал им все его драгоценности, целехонькие, нетронутые. Самонадеянность моя была столь велика, что я принес в комнату стулья и предложил им отдохнуть здесь от трудов, а сам, преисполненный торжества, с отчаянной дерзостью поставил свой стул на то самое место, где покоился труп моей жертвы.

Полицейские были удовлетворены. Мое поведение их убедило. Я держался с редкой непринужденностью. Они сели и принялись болтать о всяких пустяках, а я оживленно поддержал разговор. Но в скором времени я почувствовал, что бледнею, и мне захотелось поскорей их спровадить. У меня болела голова и, кажется, звенело в ушах; а они все сидели и болтали. Звон становился явственней; он не смолкал, нет, он становился явственней: я заговорил еще более развязно, чтобы избавиться от него; но он не смолкал, а лишь обретал отчетливость, - и наконец я обнаружил, что он раздается вовсе не у меня в ушах.

Без сомнения, я очень побледнел; теперь я говорил без умолку и повысил голос. Но звук нарастал - и что мог я поделать? Это был тихий, глухой, частый стук - очень похожий на тиканье часов, если их завернуть в вату. Я задыхался, мне не хватало воздуха, - а полицейские ничего не слышали. Я заговорил еще быстрее - еще исступленней; но звук нарастал неотвратимо. Я вскочил и затеял какой-то нелепый спор, громогласно нес всякую чушь, неистово размахивал руками; но звук неотвратимо нарастал. Отчего они не хотят уйти? Я расхаживал по комнате и топал ногами, как будто слова этих людей привели меня в ярость, - но звук неотвратимо нарастал. О господи! Что мог я поделать? Я брызгал слюной - я бушевал - я ругался! Я двигал стул, на котором только что сидел, со скрежетом возил его по половицам, но звук перекрывал все и нарастал непрерывно. Он становился все громче - громче - громче! А эти люди мило болтали и улыбались. Возможно ли, что они ничего не слышали? Господи всемогущий!.. Нет, нет! Они слышали!.. они подозревали!.. они знали!.. они забавлялись моим ужасом - так думал я и так думаю посейчас. Но нет, что угодно, только не это мучение! Будь что будет, только бы положить конец этому издевательству! Я не мог более выносить их лицемерные улыбки! Я чувствовал, что крик должен вырваться из моей груди, иначе я умру!.. Вот... опять!.. Чу! Громче! Громче! Громче! Громче!.. - Негодяи! - возопил я. - Будет вам притворяться! Я сознаюсь!.. оторвите половицы!.. вот здесь, здесь!.. это стучит его мерзкое сердце!

Д.С. Лихачёв «Письма о добром и прекрасном»

Письмо первое. Большое в малом

В материальном мире большое не уместить в малом. В сфере же духовных ценностей не так: в малом может уместиться гораздо большее, а если в большом попытаться уместить малое, то большое просто перестанет существовать.

Если есть у человека великая цель, то она должна проявляться во всем – в самом, казалось бы, незначительном. Надо быть честным в незаметном и случайном, тогда только будешь честным и в выполнении своего большого долга. Большая цель охватывает всего человека, сказывается в каждом его поступке, и нельзя думать, что дурными средствами можно достигнуть доброй цели.

Поговорка «цель оправдывает средства» губительна и безнравственна. Это хорошо показал Достоевский в «Преступлении и наказании». Главное действующее лицо этого произведения – Родион Раскольников думал, что, убив отвратительную старушонку-ростовщицу, он добудет деньги, на которые сможет затем достигнуть великих целей и облагодетельствовать человечество, но терпит внутреннее крушение. Цель далека и несбыточна, а преступление реально; оно ужасно и ничем не может быть оправдано. Стремиться к высокой цели низкими средствами нельзя. Надо быть одинаково честным как в большом, так и в малом.

Общее правило: блюсти большое в малом – нужно, в частности, и в науке. Научная истина дороже всего, и ей надо следовать во всех деталях научного исследования и в жизни ученого. Если же стремиться в науке к «мелким» целям – к доказательству «силой», вопреки фактам, к эффектности результатов или к любым формам самопродвижения, – то ученый неизбежно терпит крах. Может быть, не сразу, но в конечном счете! Когда начинаются преувеличения полученных результатов исследования или даже мелкие подтасовки фактов и научная истина оттесняется на второй план, наука перестает существовать, и сам ученый рано или поздно перестает быть ученым.

Соблюдать большое в малом надо во всем решительно. Тогда все легко и просто.

Письмо третье. Самое большое

А в чем самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас. А добро – это прежде всего счастье всех людей. Оно складывается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, которую важно уметь решать. Можно и в мелочи сделать добро человеку, можно и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя разделять. Многое, как я уже говорил, начинается с мелочей, зарождается в детстве и среди близких.

Ребенок любит свою мать и своего отца, братьев и сестер, свою семью, свой дом. Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село, город, всю страну. А это уже совсем большое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя останавливаться и надо любить в человеке человека.

Надо быть патриотом, а не националистом. Нельзя, нет необходимости ненавидеть чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом – любовь к своей стране, во втором – ненависть ко всем другим.

Большая цель добра начинается с малого – с желания добра своим близким, но, расширяясь, она захватывает все более широкий круг вопросов.

Это как круги на воде. Но круги на воде, расширяясь, становятся все слабее. Любовь же и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, обретают новые силы, становятся все выше, а человек, их центр, – мудрее.

Любовь не должна быть безотчетной, она должна быть умной. Это значит, что она должна быть соединена с умением замечать недостатки, бороться с недостатками – как в любимом человеке, так и в окружающих людях. Она должна быть соединена с мудростью, с умением отделять необходимое от пустого и ложного. Она не должна быть слепой. Слепой восторг (его даже не назовешь любовью) может привести к ужасным последствиям. Мать, всем восторгающаяся и поощряющая во всем своего ребенка, может воспитать нравственного уроды.

Мудрость – это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты – хитрость. Хитрость же непременно рано или поздно оборачивается против самого хитреца. Поэтому хитрость вынуждена скрываться. Мудрость же открыта и надежна. Она не обманывает других, и прежде всего самого мудрого человека. Мудрость приносит мудрецу доброе имя и прочное счастье, приносит счастье надежное, долготетнее и ту спокойную совесть, которая ценнее всего в старости.

Как выразить то общее, что есть между моими тремя положениями: «Большое в малом», «Молодость – вся жизнь» и «Самое большое»? Его можно выразить одним словом, которое может стать девизом: «Верность». Верность тем большим принципам, которыми должен руководствоваться человек в большом и малом, верность своей безупречной молодости, своей родине в широком и в узком смысле этого понятия, верность семье, друзьям, городу, стране, народу. В конечном счете верность есть верность правде – правде-истине и правде-справедливости.

Письмо четвертое. Самая большая ценность – жизнь

«Вдох – выдох, выдох!» Я слышу голос инструктора гимнастики: «Чтобы вдохнуть полной грудью, надо хорошенько выдохнуть. Учитесь прежде всего выдыхать, избавляться от „отработанного” воздуха».

Жизнь – это прежде всего дыхание. «Душа», «дух»! А умер – прежде всего – «перестал дышать». Так думали исстари. «Дух вон!» – это значит «умер».

Душно бывает в доме, «душно» и в нравственной жизни. Следует хорошенько «выдохнуть» все мелочные заботы, всю суету будничной жизни, избавиться, стряхнуть все, что стесняет движение мысли, что давит душу, не позволяет человеку принимать жизнь, ее ценности, ее красоту.

Человек всегда должен думать о самом важном для себя и для других, сбрасывая с себя все пустые заботы.

Надо быть открытым людям, терпимым к людям, искать в них прежде всего лучшее. Умение искать и находить лучшее, просто хорошее, «заслоненную красоту» обогащает человека духовно.

Заметить красоту в природе, в поселке, городе, не говоря уже – в человеке, сквозь все заслоны мелочей – это значит расширить сферу жизни, сферу того жизненного простора, в которой живет человек.

Я долго искал это слово – «сфера». Сперва я сказал себе: «Надо расширять границы жизни», но жизнь не имеет границ! Это не земельный участок, огороженный забором – границами. «Расширять пределы жизни» – не годится для выражения моей мысли по той же причине. «Расширять горизонты жизни» – это уже лучше, но все же что-то не то. Максимилиан Волошин любил хорошее слово – «окоём». Это все то, что вмещает глаз, что он может охватить. Но и тут мешает ограниченность нашего бытового знания. Жизнь не может быть сведена к бытовым впечатлениям. Надо уметь чувствовать и даже замечать то, что за пределами нашего восприятия, иметь как бы «предчувствие» открывающегося или могущего нам открыться нового. Самая большая ценность в мире – жизнь: чужая, своя, жизнь животного мира и растений, жизнь культуры, жизнь на всем ее протяжении – и в прошлом, и в настоящем, и в будущем... А жизнь бесконечно глубока. Мы всегда встречаемся с чем-то, чего не замечали раньше, что поражает нас своей красотой, неожиданной мудростью, неповторимостью.

Владимир Маяковский «Прозаседавшиеся»

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени она». —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели придти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».

Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
голо!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорогой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.

О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»